ИВАН ГОНЧАРОВ

Обыкновенная история

Москва

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)1-44
Г65

Художественное оформление серии *Н. Портяной*

Гончаров, Иван Александрович.

Г65 Обыкновенная история / Иван Гончаров. — Москва : Эксмо, 2026. — 352 с. — (Магистраль. Главный тренд).

ISBN 978-5-04-242326-0

Самим названием романа русский писатель Иван Александрович Гончаров (1812—1891) подчеркнул свое ироничное отношение к царившему культу романтизма в литературе и обозначил переход к реализму. То есть к тому настоящему, что происходит в жизни, описанному без громких слов и лишних прикрас. Главный герой романа Александр Адуев позиционирует себя как неискоренимого романтика, но разочаровывается в собственных идеалах. Новоиспеченному петербуржцу быстро разбивают сердце, и циничный город не дает молодому человеку ни вечной любви, ни нерушимой дружбы, ни поэтической славы. Залечивать душевные раны он возвращается в материнскую усадьбу, а через полтора года снова едет в Петербург. Но уже совершенно другим человеком. Что ждет его на этот раз?

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

ISBN 978-5-04-242326-0 **© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2026**

«С прошедшей почтой послал вам книгу, прочтите эту прелесть. Вот где учишься жить. Видишь различные взгляды на жизнь, на любовь, с которыми можешь ни с одним не согласиться, но зато свой собственный становится умнее и яснее».

Л. Н. Толстой — В. В. Арсеньевой,
1856 г. Декабря 7. Петербург

«И здесь — в встрече мягкого, избалованного ленью и барством мечтателя-племянника с практическим дядей — выразился намек на мотив, который едва только начал разыгрываться в самом бойком центре — в Петербурге. Мотив этот — слабое мерцание сознания, необходимости труда, настоящего, не рутинного, а живого дела в борьбе с всероссийским застоем».

И. А. Гончаров.
«Лучше поздно, чем никогда»

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Однажды летом, в деревне Грачах, у небогатой помещицы Анны Павловны Адуевой, все в доме поднялись с рассветом, начиная с хозяйки до цепной собаки Барбоса.

Только единственный сын Анны Павловны, Александр Федорыч, спал, как следует спать двадцатилетнему юноше, богатырским сном; а в доме все суетились и хлопотали. Люди ходили, однако ж, на цыпочках и говорили шепотом, чтоб не разбудить молодого барина. Чуть кто-нибудь стукнет, громко заговорит, сейчас, как раздраженная львица, являлась Анна Павловна и наказывала неосторожного строгим выговором, обидным прозвищем, а иногда, по мере гнева и сил своих, и толчком.

На кухне стряпали в трое рук, как будто на десятерых, хотя все господское семейство только и состояло что из Анны Павловны да Александра Федорыча. В сарае вытирали и подмазывали повозку. Все были заняты и работали до́поту лица. Барбос только ничего не делал, но и тот по-своему принимал участие в общем движении. Когда мимо него проходил лакей, кучер или шмыгала девка, он махал хвостом и тщательно обнюхивал проходящего, а сам глазами, кажется, спрашивал: «Скажут ли мне, наконец, что у нас сегодня за суматоха?»

А суматоха была оттого, что Анна Павловна отпускала сына в Петербург на службу, или, как она говорила, людей посмотреть и себя показать. Убийственный для нее день! От этого она такая грустная и расстроенная. Часто, в хлопотах, она откроет рот, чтобы приказать что-нибудь, и вдруг остановится на полуслове, голос ей изменит, она

отвернется в сторону и оботрет, если успеет, слезу, а не успеет, так уронит ее в чемодан, в который сама укладывала Сашенькино белье. Слезы давно кипят у ней в сердце; они подступили к горлу, давят грудь и готовы брызнуть в три ручья; но она как будто берегла их на прощанье и изредка тратила по капельке.

Не одна она оплакивала разлуку: сильно горевал тоже камердинер Сашеньки, Евсей. Он отправлялся с барином в Петербург, покидал самый теплый угол в дому, за лежанкой, в комнате Аграфены, первого министра в хозяйстве Анны Павловны и — что важнее для Евсея — первой ее ключницы.

За лежанкой только и было места, чтоб поставить два стула и стол, на котором готовился чай, кофе, закуска. Евсей прочно занимал место и за печкой, и в сердце Аграфены. На другом стуле заседала она сама.

История об Аграфене и Евсее была уж старая история в доме. О ней, как обо всем на свете, поговорили, позлословили их обоих, а потом, так же как и обо всем, замолчали. Сама барыня привыкла видеть их вместе, и они блаженствовали целых десять лет. Многие ли в итоге годов своей жизни начтут десять счастливых? Зато вот настал и миг утраты! Прощай, теплый угол, прощай, Аграфена Ивановна, прощай, игра в дураки, и кофе, и водка, и наливка — все прощай!

Евсей сидел молча и сильно вздыхал. Аграфена, насупясь, суетилась по хозяйству. У ней горе выражалось по-своему. Она в тот день с ожесточением разлила чай и вместо того, чтобы первую чашку крепкого чаю подать, по обыкновению, барыне, выплеснула его вон: «никому, дескать, не доставайся», и твердо перенесла выговор. Кофе у ней перекипел, сливки подгорели, чашки валились из рук. Она не поставит подноса на стол, а брякнет; не отворит шкафа и двери, а хлопнет. Но она не плакала, а сердилась на все и на всех. Впрочем, это вообще было главною чертою в ее характере. Она никогда не была довольна; все не по ней; всегда ворчала, жаловалась. Но в эту роковую

для нее минуту характер ее обнаруживался во всем своем пафосе. Пуще всего, кажется, она сердилась на Евсея.

— Аграфена Ивановна!.. — сказал он жалобно и нежно, что не совсем шло к его длинной и плотной фигуре.

— Ну, что ты, разиня, тут расселся? — отвечала она, как будто он в первый раз тут сидел. — Пусти прочь: надо полотенце достать.

— Эх, Аграфена Ивановна!.. — повторил он лениво, вздыхая и поднимаясь со стула и тотчас опять опускаясь, когда она взяла полотенце.

— Только хнычет! Вот пострел навязался! Что это за наказание, господи! и не отвяжется!

И она со звоном уронила ложку в полоскательную чашку.

— Аграфена! — раздалось вдруг из другой комнаты, — ты, никак, с ума сошла! разве не знаешь, что Сашенька почивает! Подралась, что ли, с своим возлюбленным на прощанье?

— Не пошевелись для тебя, сиди, как мертвая! — прошипела по-змеиному Аграфена, вытирая чашку обеими руками, как будто хотела изломать ее в куски.

— Прощайте, прощайте! — с громаднейшим вздохом сказал Евсей, — последний денек, Аграфена Ивановна!

— И слава богу! путь унесут вас черти отсюда: просторнее будет. Да пусти прочь, негда ступить: протянул ноги-то!

Он тронул было ее за плечо — как она ему ответила! Он опять вздохнул, но с места не двигался; да напрасно и двинулся бы: Аграфене этого не хотелось. Евсей знал это и не смущался.

— Кто-то сядет на мое место? — промолвил он, все со вздохом.

— Леший! — отрывисто отвечала она.

— Дай-то бог! лишь бы не Прошка. А кто-то в дураки с вами станет играть?

— Ну хоть бы и Прошка, так что ж за беда? — со злостью заметила она.

Евсей встал.

— Вы не играйте с Прошкой, ей-богу, не играйте! — сказал он с беспокойством и почти с угрозой.

— А кто мне запретит? ты, что ли, образина этакая?

— Матушка, Аграфена Ивановна! — начал он умоляющим голосом, обняв ее за талию, сказал бы я, если бы у ней был хоть малейший намек на талию.

Она отвечала на объятие локтем в грудь.

— Матушка, Аграфена Ивановна! — повторил он, — будет ли Прошка любить вас так, как я? Поглядите, какой он озорник: ни одной женщине проходу не дает! А я-то! э-эх! Вы у меня, что синь-порох в глазу! Если б не барская воля, так... эх!..

Он при этом крякнул и махнул рукой. Аграфена не выдержала: и у ней наконец горе обнаружилось в слезах.

— Да отстанешь ли ты от меня, окаянный? — говорила она, плача, — что мелешь, дуралей! Свяжусь я с Прошкой! разве не видишь сам, что от него путного слова не добьешься? только и знает, что лезет с ручищами...

— И к вам лез? Ах, мерзавец! А вы небось не скажете! Я бы его...

— Полезь-ка, так узнает! Разве нет в дворне женского пола, кроме меня? С Прошкой свяжусь! вишь, что выдумал! Подле него и сидеть-то тошно — свинья свиньей! Он, того и гляди, норовит ударить человека или сожрать что-нибудь барское из-под рук — и не увидишь.

— Уж если, Аграфена Ивановна, случай такой придет — лукавый ведь силен, — так лучше Гришку посадите тут: по крайности, малый смирный, работящий, не зубоскал...

— Вот еще выдумал! — накинулась на него Аграфена, — что ты меня всякому навязываешь, разве я какая-нибудь... Пошел вон отсюда! Много вашего брата, всякому стану вешаться на шею: не таковская! С тобой только, этаким лешим, попутал, видно, лукавый за грехи мои связаться, да и то каюсь... а то выдумал!

— Бог вас награди за вашу добродетель! как камень с плеч! — воскликнул Евсей.

— Обрадовался! — зверски закричала она опять, — есть чему радоваться — радуйся!

И губы у ней побелели от злости. Оба замолчали.

— Аграфена Ивановна! — робко сказал Евсей немного погодя.

— Ну, что еще?

— Я ведь и забыл: у меня нынче с утра во рту маковой росинки не было.

— Только и дела!

— С горя, матушка.

Она достала с нижней полки шкафа, из-за головы сахару, стакан водки и два огромные ломтя хлеба с ветчиной. Все это давно было приготовлено для него ее заботливой рукой. Она сунула ему их, как не суют и собакам. Один ломоть упал на пол.

— На вот, подавись! О, чтоб тебя... да тише, не чавкай на весь дом.

Она отвернулась от него с выражением будто ненависти, и он медленно начал есть, глядя исподлобья на Аграфену и прикрывая одною рукою рот.

Между тем в воротах показался ямщик с тройкой лошадей. Через шею коренной переброшена была дуга. Колокольчик, привязанный к седелке, глухо и несвободно ворочал языком, как пьяный, связанный и брошенный в караульню. Ямщик привязал лошадей под навесом сарая, снял шапку, достал оттуда грязное полотенце и отер пот с лица. Анна Павловна, увидев его из окна, побледнела. У ней подкосились ноги и опустились руки, хотя она ожидала этого. Оправившись, она позвала Аграфену.

— Поди-ка на цыпочках, тихохонько, посмотри, спит ли Сашенька? — сказала она. — Он, мой голубчик, проспит, пожалуй, и последний денек: так и не нагляжусь на него. Да нет, куда тебе! ты, того гляди, влезешь, как корова! я лучше сама...

И пошла.

— Поди-ка ты, не корова! — ворчала Аграфена, воротясь к себе. — Вишь, корову нашла! много ли у тебя этаких коров-то?

Навстречу Анне Павловне шел и сам Александр Федорыч, белокурый молодой человек, в цвете лет, здоровья и сил. Он весело поздоровался с матерью, но, увидев вдруг чемодан и узлы, смутился, молча отошел к окну и стал чертить пальцем по стеклу. Через минуту он уже опять говорил с матерью и беспечно, даже с радостью смотрел на дорожные сборы.

— Что это ты, мой дружок, как заспался, — сказала Анна Павловна, — даже личико отекло? Дай-ка вытру тебе глаза и щеки розовой водой.

— Нет, маменька, не надо.

— Чего ты хочешь позавтракать: чайку прежде или кофейку? Я велела сделать и битое мясо со сметаной на сковороде — чего хочешь?

— Все равно, маменька.

Анна Павловна продолжала укладывать белье, потом остановилась и посмотрела на сына с тоской.

— Саша!.. — сказала она через несколько времени.

— Чего изволите, маменька?

Она медлила говорить, как будто чего-то боялась.

— Куда ты едешь, мой друг, зачем? — спросила она наконец тихим голосом.

— Как куда, маменька? в Петербург, затем... затем... чтоб...

— Послушай, Саша, — сказала она в волнении, положив ему руку на плечо, по-видимому с намерением сделать последнюю попытку, — еще время не ушло: подумай, останься!

— Остаться! как можно! да ведь и... белье уложено, — сказал он, не зная, что выдумать.

— Уложено белье! да вот... вот... вот... гляди — и не уложено.

Она в три приема вынула все из чемодана.

— Как же это так, маменька? собрался — и вдруг опять! Что скажут...

Он опечалился.

— Я не столько для себя самой, сколько для тебя же отговариваю. Зачем ты едешь? Искать счастья? Да разве тебе здесь нехорошо? разве мать день-деньской не думает о том, как бы угодить всем твоим прихотям? Конечно, ты в таких летах, что одни материнские угождения не составляют счастья; да я и не требую этого. Ну, погляди вокруг себя: все смотрят тебе в глаза. А дочка Марьи Васильевны, Сонюшка? Что... покраснел? Как она, моя голубушка — дай бог ей здоровья, — любит тебя: слышь, третью ночь не спит!

— Вот, маменька, что вы! она так...

— Да, да, будто я не вижу... Ах! чтоб не забыть: она взяла обрубить твои платки — «я, — говорит, — сама, сама, никому не дам, и метку сделаю», — видишь, чего же еще тебе? Останься!

Он слушал молча, поникнув головой, и играл кистью своего шлафрока.

— Что ты найдешь в Петербурге? — продолжала она. — Ты думаешь, там тебе такое же житье будет, как здесь! Э, мой друг! Бог знает чего насмотришься и натерпишься: и холод, и голод, и нужду — все перенесешь. Злых людей везде много, а добрых не скоро найдешь. А почет — что в деревне, что в столице — все тот же почет. Как не увидишь петербургского житья, так и покажется тебе, живучи здесь, что ты первый в мире; и во всем так, мой милый! Ты же воспитан, и ловок, и хорош. Мне бы, старухе, только оставалось радоваться, глядя на тебя. Женился бы, послал бы Бог тебе деточек, а я бы нянчила их — и жил бы без горя, без забот, и прожил бы век свой мирно, тихо, никому бы не позавидовал; а там, может, и не будет хорошо, может, и помянешь слова мои... Останься, Сашенька, — а?

Он кашлянул и вздохнул, но не сказал ни слова.

— А посмотри-ка сюда, — продолжала она, отворяя дверь на балкон, — и тебе не жаль покинуть такой уголок?

С балкона в комнату пахнуло свежестью. От дома на далекое пространство раскидывался сад из старых лип, густого шиповника, черемухи и кустов сирени. Между деревьями пестрели цветы, бежали в разные стороны дорожки, далее тихо плескалось в берега озеро, облитое к одной стороне золотыми лучами утреннего солнца и гладкое, как зеркало; с другой — темно-синее, как небо, которое отражалось в нем, и едва подернутое зыбью. А там нивы с волнующимися, разноцветными хлебами шли амфитеатром и примыкали к темному лесу.

Анна Павловна, прикрыв одной рукой глаза от солнца, другой указывала сыну попеременно на каждый предмет.

— Погляди-ка, — говорила она, — какой красотой Бог одел поля наши! Вон с тех полей одной ржи до пятисот четвертей сберем; а вон и пшеничка есть, и гречиха, только гречиха нынче не то, что прошлый год: кажется, плоха будет. А лес-то, лес-то как разросся! Подумаешь, как велика премудрость Божия! Дровец с своего участка мало-мало на тысячу продадим. А дичи, дичи что! и ведь все это твое, милый сынок: я только твоя приказчица. Погляди-ка, озеро: что за великолепие! истинно небесное! рыба так и ходит; одну осетрину покупаем, а то ерши, окуни, караси кишмя кишат: и на себя и на людей идет. Вон твои коровки и лошадки пасутся. Здесь ты один всему господин, а там, может быть, всякий станет помыкать тобой. И ты хочешь бежать от такой благодати, еще не знаешь куда, в омут, может быть, прости Господи... Останься!

Он молчал.

— Да ты не слушаешь, — сказала она. — Куда это ты так пристально загляделся?

Он молча и задумчиво указал рукой вдаль. Анна Павловна взглянула и изменилась в лице. Там, между полей, змеей вилась дорога и убегала за лес, дорога в обетованную землю, в Петербург. Анна Павловна молчала несколько минут, чтоб собраться с силами.

— Так вот что! — проговорила она наконец уныло. — Ну, мой друг, бог с тобой! поезжай, уж если тебя так тянет

отсюда: я не удерживаю! По крайней мере, не скажешь, что мать заедает твою молодость и жизнь.

Бедная мать! вот тебе и награда за твою любовь! Того ли ожидала ты? В том-то и дело, что матери не ожидают наград. Мать любит без толку и без разбору. Велики вы, славны, красивы, горды, переходит имя ваше из уст в уста, гремят ваши дела по свету — голова старушки трясется от радости, она плачет, смеется и молится долго и жарко. А сынок, большею частью, и не думает поделиться славой с родительницею. Нищи ли вы духом и умом, отметила ли вас природа клеймом безобразия, точит ли жало недуга ваше сердце или тело, наконец, отталкивают вас от себя люди и нет вам места между ними — тем более места в сердце матери. Она сильнее прижимает к груди уродливое, неудавшееся чадо и молится еще долее и жарче.

Как назвать Александра бесчувственным за то, что он решился на разлуку? Ему было двадцать лет. Жизнь от пелен ему улыбалась; мать лелеяла и баловала его, как балуют единственное чадо; нянька все пела ему над колыбелью, что он будет ходить в золоте и не знать горя; профессоры твердили, что он пойдет далеко, а по возвращении его домой ему улыбнулась дочь соседки. И старый кот Васька был к нему, кажется, ласковее, нежели к кому-нибудь в доме.

О горе, слезах, бедствиях он знал только по слуху, как знают о какой-нибудь заразе, которая не обнаружилась, но глухо где-то таится в народе. От этого будущее представлялось ему в радужном свете. Его что-то манило вдаль, но что именно — он не знал. Там мелькали обольстительные призраки, но он не мог разглядеть их; слышались смешанные звуки — то голос славы, то любви: все это приводило его в сладкий трепет.

Ему скоро тесен стал домашний мир. Природу, ласки матери, благоговение няньки и всей дворни, мягкую постель, вкусные яства и мурлыканье Васьки — все эти блага, которые так дорого ценятся на склоне жизни, он весело менял на неизвестное, полное увлекательной и таинствен-

ной прелести. Даже любовь Софьи, первая, нежная и розовая любовь, не удерживала его. Что ему эта любовь? Он мечтал о колоссальной страсти, которая не знает никаких преград и свершает громкие подвиги. Он любил Софью пока маленькою любовью, в ожидании большой. Мечтал он и о пользе, которую принесет отечеству. Он прилежно и многому учился. В аттестате его сказано было, что он знает с дюжину наук да с полдюжины древних и новых языков. Всего же более он мечтал о славе писателя. Стихи его удивляли товарищей. Перед ним расстилалось множество путей, и один казался лучше другого. Он не знал, на который броситься. Скрывался от глаз только прямой путь; заметь он его, так тогда, может быть, и не поехал бы.

Как же ему было остаться? Мать желала — это опять другое и очень естественное дело. В сердце ее отжили все чувства, кроме одного — любви к сыну, и оно жарко ухватилось за этот последний предмет. Не будь его, что же ей делать? Хоть умирать. Уж давно доказано, что женское сердце не живет без любви.

Александр был избалован, но не испорчен домашнею жизнью. Природа так хорошо создала его, что любовь матери и поклонение окружающих подействовали только на добрые его стороны, развили, например, в нем преждевременно сердечные склонности, поселили ко всему доверчивость до излишества. Это же самое, может быть, расшевелило в нем и самолюбие; но ведь самолюбие само по себе только форма; все будет зависеть от материала, который вольешь в нее.

Гораздо более беды для него было в том, что мать его, при всей своей нежности, не могла дать ему настоящего взгляда на жизнь и не приготовила его на борьбу с тем, что ожидало его и ожидает всякого впереди. Но для этого нужно было искусную руку, тонкий ум и запас большой опытности, не ограниченной тесным деревенским горизонтом. Нужно было даже поменьше любить его, не думать за него ежеминутно, не отводить от него каждую заботу и неприятность, не плакать и не страдать вместо его и в детстве,

чтоб дать ему самому почувствовать приближение грозы, справиться с своими силами и подумать о своей судьбе — словом, узнать, что он мужчина. Где же было Анне Павловне понять все это и особенно выполнить? Читатель видел, какова она. Не угодно ли посмотреть еще?

Она уже забыла сыновний эгоизм. Александр Федорыч застал ее за вторичным укладываньем белья и платья. В хлопотах и дорожных сборах она как будто совсем не помнила горя.

— Вот, Сашенька, заметь хорошенько, куда я что кладу, — говорила она. — В самый низ, на дно чемодана, простыни: дюжина. Посмотри-ка, так ли записано?

— Так, маменька.

— Все с твоими метками, видишь — А. А. А все голубушка Сонюшка! Без нее наши дурищи не скоро бы поворотились. Теперь что? да, наволочки. Раз, две, три, четыре — так, вся дюжина тут. Вот рубашки — три дюжины. Что за полотно — загляденье! это голландское; сама ездила на фабрику к Василию Васильичу; он выбрал что ни есть наилучшие три куска. Поверяй же, милый, по реестру всякий раз, как будешь принимать от прачки; все новешенькие. Там немного таких рубашек увидишь; пожалуй, и подменят; есть ведь этакие мерзавки, что Бога не боятся. Носков двадцать две пары... Знаешь, что я придумала? положить в один носок твой бумажник с деньгами. Их тебе до Петербурга не понадобится, так, сохрани Боже! случай какой, чтоб и рыли, да не нашли. И письма к дяде туда же положу: то-то, чай, обрадуется! ведь семнадцать лет и словом не перекинулись, шутка ли! Вот косыночки, вот платки; еще полдюжины у Сонюшки осталось. Не теряй, душенька, платков: славный полубатист! У Михеева брала по два с четвертью. Ну, белье все. Теперь платье... Да где Евсей? что он не смотрит? Евсей!

Евсей лениво вошел в комнату.

— Чего изволите? — спросил он еще ленивее.

— Чего изволите? — заговорила Адуева гневно. — Что не смотришь, как я укладываю? А там, как надо что достать в дороге, и пойдешь все перерывать вверх дном! Не